



ЭТО БЫЛО ВЧЕРА...

Борис Аркадьевич Вульфович
Отрывок из книги «Дети войны о войне»

Начало войны мы с мамой встретили в Ленинграде, где жили в комнате большой коммунальной квартиры в районе Старо-Невского проспекта. Отец, грузчик морского торгового порта, в декабре 1940 года завербовался на заработки на золотые прииски в Артёмовск-Бодайбо Красноярского края. Уже после войны стало известно, что в конце 1942 года, ничего не зная о нашей с мамой судьбе, он был призван солдатом в Красную Армию, воевал в пехоте и погиб в битве под Ельней в сентябре 1943 года. И до отъезда отца, и после него мы жили очень бедно; мама не работала, наверное, чем-то болела, а зарплаты отца, а потом его переводов из Бодайбо едва хватало на жизнь. К 22 июня 1941 года мне было уже 11 лет и 8 месяцев, я окончил 4 класса, а потому ясно помню почти всё из блокадной жизни. С самого начала войны в Ленинграде стояла чудесная летняя погода, не было никаких налётов, тревог, всё жило и работало, как всегда. По крайней мере, мне так и казалось, когда я видел открытые магазины и Мыгнинский рынок, продавщиц мороженого и газировки, а также исправно работающие неподалёку баню и кинотеатр. Конечно, мы с мамой знали, что многие школы, наверное, и моя, отправляют детей из Ленинграда куда-то вглубь страны. Но как это могло относиться ко мне, как мама могла отпустить меня с кем-то и остаться одной? Кто может лучше, чем она, защитить её единственного ребёнка? И вообще, зачем это делать, если пока почти ничего не изменилось?.. Газет и до, и после отъезда отца мы не покупали; телефона, ни у кого в квартире, естественно, не было. Соседи, ещё 9 семей в длинном коридоре, с началом войны как-то разобщились – совсем не в духе ностальгической телепередачи «Старая квартира». Поэтому все новости мы узнавали только по радио, чёрная тарелка которого висела у нас в комнате. По нашей бедности, никаких съестных запасов у нас никогда не водилось; введённые в июле карточки – иждивенческая и детская – позволяли нам кое-как существовать, благо, мы и до войны привыкли жить скудно. Были у нас в городе и родственники.

Со стороны мамы – её незамужняя сестра Зина 43-х лет, работавшая медсестрой в Военно-медицинской Академии и получавшая более чем скромное жалование. Его едва хватало, чтобы содержать сорокалетнюю парализованную сестру Фаню и стареньких родителей. Ещё до войны, в 1940 году, дедушка умер, и они остались втроем. Жили они в небольшой полуподвальной квартире на 8-ой линии Васильевского острова. Устроить свою личную жизнь тётя Зина не могла, имея ничтожную зарплату и бесконечные хлопоты с инвалидами-домочадцами. По этой же причине она не смогла и эвакуироваться с ними из Ленинграда, а ведь такую возможность Академия предоставляла далеко не всем вольнонаёмным служащим.

Уже в самом начале войны, летом 1941 года, умерла бабушка, а в ноябре от голода-холода погибла и тётя Фаня. Они были похоронены в братской могиле в дальнем углу Еврейского кладбища. Тётя Зина осталась одна на долгие месяцы блокады и на десятки лет после неё. Другая моя родственница – тётя Сара жила со своим мужем, дядей Борей, в престижном доме на Адмиралтейской набережной. Этот дом подковой огибает Александровский сад и историческое здание Адмиралтейства, золотой шпиль которого устремлён на перспективу Невского проспекта. Только представьте себе: окна их квартиры выходят на Неву с видом на Ростральные колонны, на стрелку Васильевского острова, на Дворцовый мост и Петропавловскую крепость, а слева открывается Сенатская площадь со вздыбленным конём Петра Великого! Впечатляет? Тётя Сара и дядя Боря Белицкие благополучно пережили блокаду, чему, возможно, помогли два обстоятельства. Во-первых, у них были приличные запасы ценных продуктов, таких как сахар, крупа, тушёнка, а во-вторых, им было совсем близко ходить за водой на Неву. Зимой – к проруби. Такая близость к воде, пригодной и для питья, и для помывки, стоила для выживания не меньше, чем хлеб. Многие замертво падали каждый день в многокилометровых походах в мороз и пургу за парой би-

дончиков воды. Лишь некоторые имели большие молочные бидоны, которые можно было крепить на санки и, впрягшись в воз, тянуть драгоценную поклажу... В июне-июле мы с мамой примерно раз в неделю выбирались на Васильевский остров к тётке Зине с её немощными иждивенцами; у тёти Сарры были в гостях раз или два и выглядели там очень жалкими. В июле уже начались воздушные налёты; количество тревог нарастало с каждым днём, доходя до десяти и более. В начале августа небо над центральной частью города стало черно-багровым: начали гореть Бадаевские склады, где хранились основные продуктовые запасы города: мука, крупы, постное масло, сахар. Эти гигантские деревянные склады были расположены сравнительно недалеко от Старо-Невского, и я попытался пару раз проникнуть туда, чтобы чем-либо поживиться. Наивные попытки: несколько рядов бойцов оцепления и пожарных окружали пылающие склады, стояла страшная жара, ревели сирены, воздух был пропитан сладковатым смрадом жжёного сахара, внутри и вне зданий раздавались частые взрывы из-за массивных налётов фашистской авиации. Вопреки официальным сведениям, мне кажется, что немцы не хотели полностью разрушать и сравнивать с землей Красавец-город, а решили сохранить его для себя. Поэтому они бросали, как правило, зажигательные бомбы, которые вызывали панику и пожары. В каждом доме стали спешно организовывать команды по их тушению, в основном из мальчишек 12-15 лет; 16-17-летние рыли окопы, а парни 18 лет и старше сразу же были взяты в армию. В нашей «пожарной» команде было что-то около 15 ребят примерно одного возраста. Нас собрал какой-то военный, отвёл на чердак нашего пятиэтажного дома и стал объяснять, как надо тушить бомбу, если она пробьёт крышу, взорвётся и устроит пожар на чердаке. Хотя наш дом каменный, все его чердачные перекрытия были деревянными. Бомбы начинялись фосфором и очень красиво горели, разбрызгивая из огненного центра гигантские снопы искр, как на праздничном фейерверке. От каждой такой искры сразу же загорались стропила или балки. Температура огня достигала 1000 и более градусов; было очень жарко и почти не страшно. На чердаке стояли какие-то огромные чаны с затхлой водой. Как-то раз один из парней схватил большими специальными клещами начавшую разгораться бомбу и бросил её в воду. Что тут началось! Мы совсем забыли, что тушить зажигалки можно только одним способом – быстро забрасывая их песком, чтобы перекрыть доступ кислорода. А вода только усиливала горение. Наша команда была разбита на три смены, и дежурства длились по 7-8 часов. Однако самое для нас неприятное, пожалуй, было в том, что запасы песка, заранее заготовленные, довольно скоро заканчивались. Мы договорились, что смена, прежде чем уйти с дежурства, натаскает песок со двора и заполнит им ящики. Поднимать носилки с песком на чердак было очень тяжело, брали понемногу, и это отнимало у отдежурившей смены ещё пару часов. К нашей работе мы относились, скорее, как к игре; бывало, за всю смену ни одной бомбы к нам не залетало, а когда это случалось, со временем всё чаще и чаще, мы несколькими лопатами забрасывали её песком, не давая разгореться. Но вот однажды я поднимался на чердак в самый разгар налёта. Лестницы подрагивали, громко и противно ревели самолёты, выли сирены, непре-

рывно хлопали зенитки. Наверху я увидел четырёх ребят, склонившихся над пятым. Он лежал в чердачной пыли навзничь, верхняя часть головы была срезана как бритвой, а глаза широко открыты... Это была первая смерть, виденная мной глаза в глаза. Позднее, зимой, идя за хлебом или за водой, мы часто натыкались на лежавших на земле людей, слегка припорошенных снегом. Иногда на них уже не было шапок, валенок или платков. Но это не вызывало особой реакции, видимо, мы уже притерпелись и к смерти привыкли... Зима наступила неожиданно и очень рано. Мне кажется, что уже в ноябре всё как будто оцепенело и замерло. Мама откуда-то и непонятно за какие деньги принесла к нам в комнату крохотную печурку-буржуйку. Мы её установили рядом с окном, чтобы труба доставала до форточки. Вначале чуть не устроили пожар: раскалённая труба начала обугливать фанерную разделку, приделанную к форточке. Потом мы её заменили на жестяную. Постоянной заботой было топливо. Постепенно сожгли всё, что могло гореть: обеденный стол, этажерку, шкаф, стулья, даже несколько книг, которые оказались в доме. Во дворе нашего дома стояли длинные двухэтажные деревянные сарайки, в которых хранился всякий хлам. Один из маленьких отсеков сарайки принадлежал и нам. Конечно, мы его с большим трудом разломали и сожгли в первую очередь. Ходили и спали мы одетыми в свитера, пальто и шапки; на ночь снимали только валенки. Топливо берегли и топили только по часу раз в день. Воду мы добывали сравнительно легко: от нас до Невы в районе Александро-Невской Лавры было всего около двух километров. Туда мы добирались за час, обратно – за два и приносили домой воду в алюминиевом бидончике и в трёх кастрюльках, за ручки которых крепились верёвочные дужки. Она почти не проливалась, потому что быстро покрывалась коркой льда. Воды хватало дня на два, а то и на три, если мы экономили на мытье. Дело в том, что нас одолевали вши. Я знаю, что мы поступали так, как и в других семьях, а именно: каждый день, склонившись над лучиной или коптилкой, мы очищали швы наших рубашек, а потом вывешивали их за окно на выморозку. Головы вычёсывали по несколько раз на день и подолгу. Выше я упомянул лучину и коптилку. Поскольку электричества с ноября не было, а окна плотно занавешивались старыми одеялами для тепла и светомаскировки, все освещались час-другой свечками, если они ещё оставались, а в основном – коптилками и лучинами. Керосин у нас быстро кончился, и мы стали заготавливать лучины. Ножи наши были очень тупыми, навыков – почти никаких, а ведь приготовить хорошую «долгоиграющую» лучину – настоящее искусство! Впоследствии, находясь в детдомах Костромы и Ярославля, я оказывался большим умельцем и в борьбе со вшами и в изготовлении очень тонких и ровно горящих лучин, которые мы втайне от воспитателей загибали по ночам. Ну, а главное, конечно, – это хлеб. Многие думают, что столь знаменитая пайка в 125 граммов в день выдавалась чуть ли не все 900 дней блокады. Это не так. После потери Бадаевских складов и по мере затягивания блокадной петли, нормы продуктов по карточкам систематически уменьшались – и по «ассортименту», и по объёму. Сначала начали сокращать тушёнку, потом последовательно масло сливочное и постное, сахар, крупы и, наконец, хлеб. Действительно, в течение двух долгих месяцев с декабря 41-го по февраль 42-го ниче-

го, кроме одного кусочка хлеба, похожего на глину, мы не имели. Быть может, поэтому магические «125 грамм» и стали блокадным символом, сжимающим нам горло и сейчас, спустя почти 70 лет... В конце декабря, под Новый год, мы с мамой решили навесить тётю Зину. Вышли утром, как следует обвязавшись платками поверх пальто. Днём добрались до места и долго стучали в заледенелое тётино окно, выходящее во двор. Тётю мы узнали с трудом: она вся отекала и была одета в какие-то немыслимые хламиды и платки, глаз её совсем не было видно. Она уже жила одна, рассказывать о том, как погибли бабушка и тётя Фаня, не хотела, только её глаза всё время намокали, хотя она и не плакала. Потом из маленькой тумбочки она достала крохотную кастрюльку и глубокую тарелку. В кастрюльке была чечевичная каша! В тарелке был студень из столярного клея! Это был её царский подарок нам – двум пока ещё живым родным людям, сестре и племяннику. И если «125 грамм» есть наш всеобщий символ блокады, то чечевица навсегда осталась только моим; она выразила собой всю радость и счастье еды... С мамой тётя Зина увиделась тогда в последний раз, а я с тётей встретился только после войны, когда вернулся к ней из детского дома в Ленинград в 1945 году. С того памятного декабрьского дня мы с мамой вообще никуда из дому, кроме как за водой и за хлебом, не выходили. Шли только вдвоём, боясь, что один, если упадёт, то может и не подняться. Но в самом конце февраля мама так ослабела, что выходить на улицу не могла, а только лежала и ждала меня. И тут неожиданно объявили, что на март хлебная норма для иждивенцев и детей увеличивается до 250 граммов. Я принёс домой карточки и пытался объяснить маме, уже почти не встававшей с кровати, какая это радость – теперь мы будем жить! Она слабо улыбалась, всё гладила меня и что-то тихо говорила, говорила... 8 марта 1942 года она уже не проснулась. Были особые бригады, которые обходили комнаты и квартиры домов, улицы и переулки и подбирали погибших. На завтра унесли и маму, определив её на последний покой на Пискаревском кладбище, справа по ходу, в огромном холме «Март 1942». Так я остался один, никому в принципе не нужный. Но это только на первый взгляд. Мама, уже с того света, существенно поддержала меня, даря мне каждый день марта свои 250 граммов хлеба. Потому я и выжил. Конечно, на апрель я получил карточку уже только на себя... В последний день марта я совершил поход на Васильевский остров к тётке Зине. Она была жива, но всё время только лежала, вконец ослабленная и ко всему равнодушная. Она-то и посоветовала мне сходить к тётке Саре с дядей Борей и, если примут, то остаться у них. В первых числах апреля я так и сделал.

Повторю несколько деталей об этой семье, которые имеют, если не прямое, то косвенное отношение к последствиям моего визита. У них было двое детей: дочь, моя двоюродная сестра Дуся, эвакуированная в город Энгельс на Волге (муж её, лёгчик, был на фронте), и младший сын Нона, второкурсник Академии Художеств и любимый ученик академика живописи Юона. В июле 1941 года, в 19 лет, он ушёл в народное ополчение и пропал без вести, оставив незаживающую рану у родителей до конца их жизни. В те далёкие дни апреля 1942 года они надеялись, нет, просто верили, что Нона жив, быть может, ранен, но что он обязательно вернётся домой! И вот стук в дверь, но вместо долго-

жданного сына на пороге стою я, жалкий укутанный скелетик, который просится в нахлебники и в тепло их дома-крепости. Дядя Боря очень рассердился моему неожиданному появлению; он долго возмущался легкомыслием моего отца-босняка, который всю жизнь витал в облаках и не сумел материально обеспечить семью, а потом вообще её бросил! (Да не бросал он нас, не бросал, а уехал на заработки!) «Да и мама хороша, – продолжал он, – не захотела отправить меня вовремя из города, сама погибла и оставила сына на произвол судьбы!» Тётя Сара, никогда не имевшая в семье права голоса, молчала и тихо всхлипывала, умоляюще глядя на него. После довольно долгой и неприятной сцены меня оставили. Квартира состояла из двух небольших уютных комнат, кухоньки и сравнительно просторной прихожей. Потолки в квартире были очень высокими, поэтому в прихожей у них были оборудованы антресоли. Дверок они не имели, но оказались весьма просторными – размером не менее 2 на 2 метра. Сидеть в них можно было с трудом, но лежать в полумраке – очень приятно. Туда меня и определили, предварительно убрал холсты и краски Ноны. Решение было мудрым, ибо куда ещё девать грязного и завшивленного племянника, свалившегося как снег на голову! Мне поставили условие: как только вернётся Нона, я должен буду отправиться к себе домой на Херсонскую улицу. Увы, это случилось гораздо раньше – через три дня после моего новоселья. Именно через три – по числу украденных мной кусков сахара. Уже в первую же ночь я нащупал у себя за головой в стенке небольшие дверцы, закрытые на висячий, но неисправный замочек. Когда в доме стало тихо, я потихоньку открыл дверцы и в темноте нащупал на двух полках матерчатые мешочки. У одного из них были острые неровные бока. Я не без труда развязал его тесёмку. Там оказалось целое сокровище: килограмма два, а может и больше кускового сахара, которого теперь уже и делать-то, наверное, не умеют! С маленьким осколком такого куска выпивали такою сахару когда-то целый стакан чаю! После войны выпивали сахар, да и специальные щипчики для его колки ещё выпускали; теперешний же кусковой сахар никуда не годится: прямоугольнички моментально тают во рту от первого же глотка воды, уничтожая само понятие «чай вприкуску»! Наслаждался я первым куском всю ночь. Сахар был крепок, как камень, приходилось его посаживать, а при попытках немного откусить я чувствовал во рту солёное – слабые дёсны сильно кровоточили, да и хрустеть было очень опасно. К рассвету я этот кусок одолел, но при сумеречном свете увидел на своей подушке большие розовые подтёки слюны и крови, что выдавало меня с головой. Подушку я перевернул в надежде, что кражи никто не заметит. Целый день я ходил сам не свой от страха, но всё равно ждал с нетерпением ночи, чтобы всё повторить. Во вторую и третью ночь я старался выбирать куски поменьше и сосал их лёжа на спине, чтобы не так текла слюна. Но днём после третьей ночи моё воровство открылось. Дядя Боря полез на антресоли за припасами и обнаружил плохо завязанный мешок с сахаром, а также прямые доказательства моего преступления: острые крошки сахара на одеяле, на котором я спал, и окровавленную наволочку. Дядя страшно кричал, называл меня гнусным воришкой, недостойным не только находиться среди порядочных людей, но и жить на свете вообще. Он меня не бил, а продолжал ругать и меня, и моего бес-

путного отца, у которого только такой сын и мог вырасти. Отец тогда ещё был жив, воевал (дядя Боря имел от армии освобождение) и в 1943 году погиб, так и не узнав о моём позоре. При скорбном молчании тёти Сары дядя приказал мне убраться восвояси, что я и сделал, забрав свою хлебную карточку. Возвращаясь через 67 лет к этой истории, я не могу обвинить дядю Борю в жестокости, ведь это я нарушил библейскую заповедь «не укради». Ну а как дядя соотнёс преступление и наказание, он, видимо, Всевышнему уже доложил. Думаю, скоро и я буду держать перед Богом ответ за то, что не устоял перед сладким соблазном, висевшим у меня над головой. Когда я вернулся домой, то пару дней чувствовал себя бодро, а потом стал впадать в какое-то оцепенение. С большим трудом вставал за водой и хлебом, много спал, прекратил очищать швы рубашки и вычёсывать голову. Я не знаю, сколько прошло времени, но однажды я вскочил с кровати и открыл дверь, в которую громко стучали... Очнувшись я на узкой койке в большом зале, целиком заполненном такими же кроватями. Это был спецприёмник в Александров-Невской Лавре, куда солдатские бригады свозили ещё живых детей из заброшенных квартир.

Здесь-то и спасли мне жизнь: обрили, вымыли, уложили на белые простыни, два раза в день давали суп. Часто ранними утрами на носилках выносили по несколько человек, накрытых с головой простынями, а на их место привозили новых. Пронёсся слух, что нас готовят к отправке на Большую Землю и со дня на день начнётся погрузка в машины. И тут, как нарочно, у меня начался понос, да ещё и с кровью. Я испугался, что меня не возьмут, а потом так же вынесут, укрытого простыней. Поэтому во время обходов о поносе ничего не говорил. Через несколько дней, в самом конце апреля комиссия провела последний осмотр и отбор, который я выдержал с большим трудом из-за сильных резей в животе. Перед глазами у меня стоят картины нашего путешествия по ледяной Дороге Жизни через Ладожское озеро. Было довольно тепло, ярко светило весеннее солнце, длинная колонна грузовых машин медленно ползла по воде, покрывавшей уже сильно подтаявший лёд. Мы двигались днём и ночью, ибо нельзя было терять ни часу: вот-вот должен был начаться ледоход. Как мы узнали потом, этот автомобильный караван был последним: завтра наша авиация сама стала бомбить и взрывать лёд, готова фарватер для барж-самоходок и катеров. Конечно, наш переход был очень опасным. За сутки пути немцы нас трижды бомбили. С обеих сторон трассы стояли наши зенитные батареи, и как только начинался налёт, поднимался страшный вой пикирующих штурмовиков, грохот от разрывов бомб и еле слышное на этом фоне твюканье зениток. С началом первой бомбёжки колонна остановилась, и сидевшая с нами медсестра приказала всем высочить и лечь в ледяную кашу под машину. Я вконец ослабел, борт нашего грузовика был весьма высок, поэтому я остался в кузове, опустившись со скамейки на пол машины. Вдруг раздался мощный взрыв, я поднял голову и увидел, как впереди стоявший пустой грузовик стал медленно погружаться в воду вместе с детьми, схоронившимися под ним. Отбомбившись, самолёты улетели, и стало оглушительно тихо. Прибежал военный, кричал на нас и приказал при налётах отбегать от машины как можно дальше и тихо лежать на льду, пока бомбёжка не закончится. Второй раз я так

и сделал, а на третий, когда уже совсем стемнело, я из машины выбраться не смог, опять начался сильный понос и озноб от мокрой одежды. Ночью бомбёжек не было, и мы благополучно добрались до берега. На железнодорожной станции нас погрузили в теплушки и долго везли до Костромы, выгружая на полустанках умерших. В Костроме я полгода провалялся в больнице с тяжёлой дизентерией и дистрофией и только потом был определён в детский дом. Затем был перевод в детдом Ярославля, поездки с концертной бригадой по военным госпиталям области, возвращение летом 1945 года в Ленинград, учёба в школе рабочей молодёжи и Высшем Арктическом Морском Училище, четыре навигации в Восточном секторе Арктики, аспирантура и пятьдесят лет работы в Мурманской высшей мореходке, долгие поездки к жене, детям и внукам на другие берега. Но всё это уже другие истории, обо всём этом – в следующих очерках. Уже никого нет в живых – тех, кто меня спас от смерти и вернул к жизни в те далёкие-близкие годы: воевавшего за меня отца, мамы, отдавшей мне свой хлеб, врачей, сестёр и нянечек приёмников и госпиталей, воспитателей и учителей детских домов. Благодаря им я остался жив, благодаря им появились на свет мои дети и внуки, благодаря им, даст Бог, и моя веточка будет вечно цвести и продолжаться в нескончаемой смене поколений.

В январе 2009 года исполнилось 65 лет со дня полного снятия блокады родного города. Мурманское общество жителей и защитников блокадного Ленинграда устроило нам торжественный вечер. За 20-ю столами сидели седые пожилые люди, которым не требовались никакие доклады и речи. Да их и не было. Когда все успокоились, прозвучали тихие команды: притушить свет, зажечь на каждом столе по свече, всем налить по стопке водки и взять в руку 125-граммовые кусочки хлеба, специально испечённого к этому дорогому празднику. Ленинградский Институт Питания по сохранённой блокадной рецептуре – 20% муки, 30% жмыха, 20% древесной коры, остальное – тайна – приготовил этот хлеб и прислал его нам в дар. Я до сих пор храню этот кусочек блокадной пайки. Мы молча стояли при свечах, держа водку и этот хлеб. «За мёртвых и живых Ленинграда!» – прозвучала последняя команда-гост. Потом зажегся свет, но мы ещё долго приходили в себя от потрясения. Ну а затем стало легко и свободно, как это и должно быть среди людей, близких по судьбе и пережитому.

Сейчас, когда я заканчиваю эти воспоминания, мне вдруг в голову пришла дурацкая мысль: а что, если бы на это застолье пригласить главнокомандующих самых могущественных в мире держав и поднести им, никогда не нюхавшим пороха, по стопке водки и по кусочку мякины – в память о павших от бомбёжек и голода. Может быть, они поняли бы, что мир на Балканах, на Кавказе, на Ближнем Востоке путём новой войны не установить. Но это так, к слову... Немало бывших защитников Ленинграда и блокадников уже от нас ушли; многих по разным причинам разбросало по городам и весям нашей планеты. Но куда бы ни забросила нас судьба, мы, блокадное братство 80-летних стариков, тихо маемся душой, не в силах позабыть всё пережитое. И лучше Маяковского тут не скажешь:

*Можно забыть, где и когда тузы растил и зобы,
землю, с которой вдвоём голодал, –
нельзя никогда забыть!
Это было вчера...*